

Коста Хетагуров

# Рассказы



# Коста Леванович Хетагуров

## Рассказы

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=21233684](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=21233684)*

### **Аннотация**

Рассказы Косты Левановича Хетагурова осетинского поэта, драматурга, публициста, живописца. Основоположника осетинской литературы.

# Содержание

Охота за турами	4
В горах	17
Предложение	23
«Сегодня я окончил свои вечерние занятия...»	31

# Коста Хетагуров

## Рассказы

### Охота за турами

Аул Зебат состоял всего только из тринадцати дворов. Сакли его, словно гнезда ласточки, лепились в складках утеса, вздымавшегося до облаков из глубокой теснины. Бушующий поток на скалистом дне ущелья казался из аула серебряной нитью. Ни кусточка, ни деревца кругом! Везде скалы, одни скалы, поросшие мхом, и голый безжизненный камень.

Жили в этом ауле осетины; жили очень бедно, потому что не было у них ни лугов, ни пахотной земли. Мужчины занимались охотой за турами, а женщины смотрели за хозяйством. Козы заменяли им коров, а ишаки – лошадей. У кого было два осла, тот считался уже богатым. Домашнюю птицу всего аула составляли хохлатый петух и две-три конопатые курочки.

Осенью окрестности аула принимают еще более печальный вид. Тошная трава желтеет. Серые тучи спускаются до самого аула; из ледников дует холодный ветер. Начинаются дожди, изморозь, снег...

Впрочем, в конце сентября выпадают иногда ясные солнечные дни с холодным утром и с теплым великолепным

вечером. Лучи заходящего солнца позлащают причудливые вершины гор. Все ущелье покрывается прозрачной дымкой, из которой, как заколдованные замки, встают зубчатые скалы. Далеко в глубине рокочет неугомонный поток, и только он, переливаясь на тысячи ладов, нарушает мертвую тишину безмолвных утесов.

В один из таких вечеров к крайней сакле аула подошел молодой осетин.

– Тедо! – позвал он, не входя в саклю.

– Кто там? – отозвался мужской голос, и вслед за этим в низких дверях показался коренастый мужчина в серой черкеске и холстяной шляпе. – А, это ты, Сабан... Здравствуй! – обратился он весело к молодому осетину. – Что случилось?

– Да проклятый козел стащил один из моих чабуров (обувь) и оставил от него только плетеную подошву, – отвечал молодой осетин чуть не со слезами.

– Как так?!

– Очень просто. Я их починил, смазал, выложил свежей травой. Оставалось только надеть... Да завозился с ружьем. Надо, думаю, кремень переменить. Переменил... Хочу надеть чабуры... Левый на месте, а правого нет. Я – искать, туда – сюда... Нет нигде! Сестру оттаскал, брата прибил – нет, да и только! А козел тем временем жует да жует себе в темном углу. Мать заметила. Отняли – одна плетушка.

– Плохо дело, – со смехом заметил Тедо, – ну, да ты успеешь еще починить его. Мы будем ждать тебя до восхода лу-

ны.

– Неужели?.. Вот спасибо...

– Благодарю Фсати, который готовит нам с завтрашней зарей стадо круторогих, а пока ступай кроить свой чабур.

– Иду, иду! – И молодой осетин быстро зашагал по кривой улице.

– Не забудь и других предупредить, – крикнул ему вслед Тедо и вернулся в саклю.

Сакля Тедо имела два отделения. В первом, за плетнем, помещались козы, а во втором – сами хозяева. Небольшая дыра в южной стене жилого отделения заменяла окно. Посреди земляного пола был разведен огонь. Дым выходил в отверстие в потолке. Над огнем висел котелок. Молодая женщина делала из темного теста лепешки и запекала их в горячей золе. По другую сторону очага сидел старик и развлекал грудного ребенка. Вот и вся семья только что вошедшего Тедо: отец, жена и сынишка.

Зураб – так звали старика – был когда-то замечательным охотником; но старость одолела его: он плохо стал видеть и уступил свое ружье сыну. Сын с честью заменил отца и считался лучшим охотником в ауле.

Когда у Тедо начинались сборы на охоту, Зураб становился веселым и разговорчивым. Он припоминал свою молодость и давал сыну нужные советы. Только Залина, молодая жена Тедо, всегда очень скучала, когда муж отправлялся на охоту. Много рассказов она слышала об опасностях охоты за

турами и потому боялась за своего мужа. Когда она высказывала свои опасения, то Тедо обыкновенно шутил над ее женской трусостью. Слез он не терпел, и она никогда не смела плакать при нем.

– Кто это приходил? – спросил Зураб, когда сын его вернулся в саклю.

– Сабан, – ответил Тедо. – Он просит подождать его до восхода луны – не успел, говорит, приготовиться. Я сказал, что можно.

– Конечно, конечно, – одобрил старик, – и мы всегда так делали. Луна всходит рано – вы успеете. В лунную ночь туры спускаются ниже. Если вы пойдете по Мышиной тропе, то к рассвету перехватите их на перевале.

– Оно так, – заметил сын, – да по этой тропе опасно подыматься ночью.

– Бабы! – упрекнул старик. – Для охотника за турами не должно существовать препятствия. Я по этой тропе подымался в туманную ночь, под ливнем. Положим, за тремя гротами чуть не поплатился жизнью – сорвался... но ничего, бог миловал. Зато утром свалил вот этого самого козленка. – И Зураб самодовольно указал на два туры рога, висевшие на стене. Рога были необыкновенной величины.

– Я за себя не боюсь, – оправдывался Тедо. – Я знаю каждый камешек на этой тропе; но между нами будут неопытные охотники, – чего доброго, не согласятся.

– Детей никогда не надо спрашивать, – сурово заметил

старик. – Они должны следовать за старшими.

Ужин был готов. Залина сняла котелок, наполнила две чашки похлебкой и вместе с лепешками поставила их на круглый низенький столик о трех ножках. Тедо взял столик и поставил его перед отцом. Старик передал ребенка матери и с молитвой преломил лепешку. Тедо почтительно подсел к отцу и начал с ним ужинать.

Залина, по обычаю, стояла с ребенком на руках.

Когда Зураб сделал последний глоток из своей чашки, погладил бороду и поблагодарил бога, Тедо торопливо взял столик и передал его жене. Зураб закурил трубку, пожелал сыну успеха в предстоящей охоте и отправился спать. Спал он в том отделении, где помещались козы.

По уходе старика начала ужинать и Залина. Тедо взял сынишку, посадил его к себе на колени и шутливо обратился к жене:

– Ты, кажется, опять вспомнила свою бабушку – чего нос повесила?

– Умоляю тебя, не ходи по этой проклятой тропе, – тихо выговорила Залина и наклонилась над чашкой. Крупная слеза быстро сбежала по ее смуглой щеке и упала в похлебку.

– Не прикажешь ли за турами охотиться в этой сакле из окна?

– Ну, а если... не дай бог... несчастье какое?..

– Э, душа моя! Бог не выдаст, медведь не съест... А если несчастье, то вот тебе, – продолжал он весело, качая сынка: –



Видишь, какой молодец? Он тебя прокормит и похоронит... Так ведь, сыночек, да? Похоронишь маму?

Ребенок расхохотался и замахал ручонками,

– Джигит, одно слово, – джигит! Ну, а все-таки ступай к матери! – И Тедо, крепко поцеловав ребенка, передал его жене.

– Эге, никак и луна взошла, – продолжал он, выглядывая в окошко. – Ну, значит, собирайся и гайда!..

– Прошу тебя, не ходи сегодня, – умоляла со слезами в голосе Залина.

– С ума ты сошла! – крикнул Тедо. – С голоду умереть захотела?!

– Перебьемся как-нибудь... отложи охоту до другого раза.

– Зачем?

– Так... я боюсь.

– Ха-ха-ха! Глупая! Чего ты боишься? Чай, не первый раз... Слава богу, опытности хватит... еще других поучим... Ну, полно, полно. Будь умницей. Ведь жить-то надо. Только и кормимся, что охотой. Значит, не робей, а положишься во всем на волю святого Георгия. Не будь трусихой, и я приволоку тебе такого козленка, что сама потом будешь гнать на охоту – право!..

– Тедо! О Тедо! – донесся голос с улицы.

– Иду! – крикнул ему в ответ Тедо и, сняв со стены ружье, сумки и башлык, вышел на улицу.

Мышиная тропа была вообще опасна, а тем более для ноч-

ного путешествия. Она то змеей извивается в расщелинах скал, то крутыми ступенями подымается по отвесной стене, то ящерицей ползет в морщинах неприступного утеса, то легкой паутиной огибает бездонную пропасть, то совершенно исчезает в хаосе разрушенных скал и каменных осыпей.

Местами она так узка, что негде ногу поставить и приходится ползти на четвереньках. На каждом шагу смелого путешественника может приплюснуть сорвавшаяся глыба, каждую минуту он рискует полететь в такую бездну, где и ворон не найдет его костей.

Тедо шел впереди всех. Ноги его уставали, но он карабкался бодро.

– Не могу идти дальше, – простонал один из новичков.

– Да, отдохнуть надо, – согласились другие.

– Некогда отдыхать! – возразил Тедо. – Скоро светать начнет, и к восходу не доберемся до перевала.

– Идите, кто хочет, а я не могу, – продолжал новичок.

– Баба! – крикнул на него Тедо. – Тебе бы тесто месить, а не за турами охотиться!.. Заурбек! – обратился он к шедшему за ним товарищу, – ты эту дорогу знаешь лучше меня; оставайся с ним, а мы пойдем. С восходом солнца мы, во что бы то ни стало, будем на перевале. Смело гоните туров – им не миновать наших пуль.

– И я останусь, – робко произнес еще один охотник.

– Тем лучше, – ответил Тедо. – В каждой партии, значит, будет по три человека. Идемте! – И он снова стал карабкаться.

ся по отвесу. Сабан следовал за ним. Дорога становилась хуже и хуже. Тедо ободрял своих товарищей, в опасных местах указывал им, где становить ногу, за какой камень держаться, какого размера сделать прыжок и прочее.

– Стой! – крикнул вдруг осетин. – Видно, был обвал: не на что ступить.

И действительно, в этом месте тропа прекращалась. Тедо посмотрел вперед и шагах в десяти увидел большой выступ скалы, где заметно было продолжение тропы. Но промежуток между охотниками и тропой представлял из себя почти отвесную каменную стену, вершина которой исчезала в утреннем тумане, а основание терялось в глубине зияющей пропасти. Много надо мужества и беспредельной отваги, чтобы перебраться на продолжение тропы, цепляясь за едва заметные уступы, за щели и морщины каменной скалы; но отважные горцы привыкли уже бороться с такими препятствиями.

– Давайте веревку, – крикнул Тедо.

Ему подали, и он обмотал один конец ее вокруг поясницы.

– Держите хорошенько.

– Держим, – ответили его спутники.

Молчанье длилось около минуты. Тедо карабкался, как кошка, хватаясь за всякий выступ, за всякую неровность скалы.

– Поддай! – произнес он над пропастью.

– На! – ответили товарищи и поддали веревку, не больше

как на пол-аршина.

– Еще! – повторил Тедо.

– На!..

– Есть, – весело крикнул Тедо на той стороне, – надежно.

Приступайте смело.

Второй охотник перебрался легко, потому что веревку, которой он был опоясан, держали за оба конца. По ту сторону пропасти держал ее Тедо, а по эту – Сабан.

– Готово! – крикнул Тедо, когда товарищ их был ужена его стороне.

Оставалось переправиться Сабану. Он так же, как его товарищи, обвязал веревку вокруг поясницы, крикнул «держи!» и начал карабкаться по отвесу скалы.

Все хранили глубокое молчание. Тедо все больше и больше укорачивал веревку. Еще два-три шага и Сабан будет на их стороне. Слышно было, как он царапался ногтями по каменной скале, как из-под его ног мелкие камешки катились в пропасть...

– Аллах!! – раздался вдруг отчаянный крик охотника. Сабан сорвался; но товарищи его были готовы к такому случаю: они крепко держали веревку, и молодой осетин качался над бездной пропасти.

– Ушибся? – крикнул ему Тедо.

– Кажется, нет, – прохрипел Сабан.

Товарищи вытащили его и стали продолжать свой путь.

– Ну, слава богу, – произнес Тедо после еще одного труд-

ного перехода, – теперь мы вне опасности. Осталось немного, да и рассвело совсем.

Скоро они добрались до сборного пункта. Небольшая лужайка на самой вершине одного утеса была любимым местом отдыха всех охотников. Здесь они обсуждали план охоты. Сюда же приносили свою добычу, разводили огонь, жарили шашлыки, пели свои любимые песни и сладко засыпали после утомительного дня и вкусного ужина.

– Вот теперь можно и отдохнуть немного, – весело произнес Тедо, снимая сумку и ружье. – Здесь мы дома.

Охотники сели в кружок и начали завтракать. У каждого оказались в сумке ячменные лепешки и соль, а у Сабана еще и кусочек сыру.

Между тем настало время охоты. Товарищи осмотрели ружья, сложили в кучу излишнюю тяжесть, пожелали друг другу успеха и пошли к намеченным пунктам. Тедо должен был занять самую высокую седловину. Он отделился и быстро стал подниматься по скату. На повороте он остановился на минутку, махнул товарищам шапкой и скрылся.

Лучи восходящего солнца облили ярким румянцем снежную вершину Казбека. Горы стали выползать из утреннего тумана. Вдали чернело Дарьяльское ущелье. Тедо приближался к месту своей засады. Сделав крутой подъем, он остановился, чтобы перевести дыхание, оперся на ружье и осмотрелся... Вправо от него на большом скате паслось целое семейство туров. Сердце охотника забилося... Он поднял ру-

жье, но тотчас опустил его. Пуля не могла долететь до туров. Надо было обдумать, с какой стороны удобнее к ним добраться. Дорог, несомненно, две. Верхняя – менее опасная для охотника, но слишком открытая: туры могут заметить и скрыться. По нижней можно подойти к ним очень близко, но она идет по слишком опасному обрыву...

– Э, ничего, – пробормотал Тедо и пошел по нижней...

Смелые обитатели вековых ледников и мрачных утесов совсем не подозревали угрожавшей им опасности. Некоторые из них беззаботно паслись на крутой лужайке, а другие мирно почивали на выступах скалы.

Никогда смелость и ловкость Тедо не доходили до такой степени. Необыкновенно осторожно, как дикий кот, крался он к своей добыче. Ни один камешек не столкнул он с места, ни одна песчинка не сорвалась из-под его ног. Он подвигался: медленно, но каждый новый шаг обещал ему несомненный успех...

Еще немного, и он может выбрать любого тура для своего выстрела. Вот он уже на месте... Площадка очень достаточна, чтобы присесть и прицелиться... Промаха не будет. Его не пугает темная бездна под ногами, он забыл о страшной осыпи гранитных обломков, беспорядочно громоздившихся над его головой, забыл, что при малейшем сотрясении вся эта рыхлая громада может двинуться и похоронить его на дне ущелья. Тедо думал только о туре, которого сейчас застрелит. Он взвел курок и стал целиться... Тур, которого он

наметил, передвинулся на другое место. Тедо выждал, пока он остановился, хотел снова прицелиться, но невольно опустил ружье. Намеченный тур затеял игру, которую приходится видеть не всякому охотнику. Приподнявшись на задние ноги, тур ринулся вниз, головой на другого, стоявшего гораздо ниже его на самом краю обрыва. Раздался треск столкнувшихся рогоз. Нижний тур блистательно выдержал удар. Противники обменялись местами. Такой же отчаянный прыжок, страшный треск и необыкновенно блистательный отпор. Обменялись опять. Неизвестно, сколько времени продолжалось бы это состязанье, если бы Тедо не прекратил его. В голове охотника быстро созрела коварная мысль – одним выстрелом свалить двух громадных туров. Расчет был верен. В тот момент, когда верхний тур поднялся на задние ноги и оттолкнулся от скалы, чтобы сделать обычный прыжок, Тедо выстрелил в нижнего, и оба бойца сделались жертвой хитрости охотника. Нижний был убит пулей, а верхний, не встретив его сопротивления, полетел вместе с ним в пропасть...

Охотник торжествовал, но недолго. Выстрел всполошил остальных туров. Они бросились бежать. Через минуту один из них показался на груди камней, громоздившихся над головой охотника. Минута была ужасная. Тедо видел, как проскочил тур, как под его ногами пошатнулся камень, за ним другой, третий... Еще секунда, и вся эта рыхлая громада заколыхалась, двинулась и грозно загрохотала по крутой стремнине. Каждый камешек увлекал за собой тысячи дру-

гих... Гром и рокотанье завала были слышны на десятки верст. Густое облако пыли наполнило все ущелье...

Завал прошел. Где-то в глубине теснины замерло последнее эхо... Пыль осела. От выступа, на котором стоял Тедо, не осталось и следа. Все было стерто... уничтожено...

*1893 (?)*



# В горах

Стоит только подняться от Мышиной тропы на Некрасовскую гору, чтобы не упустить случая полюбоваться очаровательной картиной: на первом плане, в крутых скалистых берегах, между горами камней извивается капризная, вечно неугомонная, покрытая блестящею пеною Кубань. Шум, подобный завыванию тысяч разнообразных голосов, производимый каскадами этой бурливой горной реки, наполняет собою свежий, упоительный воздух и придает как бы большую жизненность всей картине. Вершины высоких скалистых гор, группирующихся в чудной перспективе вокруг Кубани до рождающих ее вечных снегов, удивляют своею фантастичностью. Какая таинственность разлита по всей картине! Какая грандиозность! Необыкновенная грандиозность! Она даже как-то уничтожает наблюдателя, подавляет как-то... умалет его... Но зато тот уголок, та неширокая гладкая долина, служащая звеном между первым и вторым планом, та чистая бархатная полоска, по которой серебрится живописная линия Кубани, – как приветливо она выглядывает из темной глубины окружающих ее громад, как она успокаивает, как она манит, манит к себе!.. А то прозрачное облако дыма, окутывающее подножие мрачного утеса – это матовое покрывало меланхолической Шуаны, – как оно гармонирует со своей хозяйкой!

Под этим дымом скрывается от любопытных глаз небольшой, все еще недоверчивый, хотя и православный, осетинский аул Дурхум. Недостроенная, но уже сгнившая деревянная Церковь, серые, с маленькими отверстиями вместо окон, сакли, безобразно пузатые плетеные трубы на их плоских крышах, кривые на кривых столбиках сараи, грязные дворы, разломанные плетни невольно свидетельствуют о несостоятельности, вернее, о первобытности жителей этого аула. Только два Домика, стоящие на площади, как бы говорили всякому постороннему посетителю: и мы, дескать, не желаем отстать от Европы. В одном из них живет аульный священник, а в другом помещается аульная школа. Оба домика, хотя покрыты камышом и покрыты очень жидко, так что во время дождя священнику и учительнице приходится расставлять по полу тазы для собирания некстати просачивающейся через потолок дождевой воды, – но зато, говорю, оба эти домика были когда-то смазаны глиной и даже выбелены мелом. Теперь-то, впрочем, оба домика такие же серые, как и простые сакли; местами даже смазка их стен размылась дождевой водой. К тому же оба домика со стеклами и редко с промасленной бумагой в оконных рамах, и даже со ставнями почти на всех окнах. Зато, повторяю, справедливо то, что оба домика были когда-то хорошо смазаны глиной и выбелены мелом. Кроме того, они могут служить прекрасной натурой для современного художника, если принять во внимание причудливую игру с ними румяных кокетливых лучей

сегодняшнего утреннего солнца на синем, слегка фиолетовом, фоне далеких снеговых гор. Какая сила теней! Какое разнообразие тонов!..

Картина будет вполне законченная, если не упустить из виду сидящую на деревянных ступеньках поповского дома женскую фигуру с грудным ребенком на ее коленях и играющего у ее ног с большой мохнатой собакой мальчугана. Какой художественный беспорядок! Спавший на затылок красный платок, белокурые растрепанные волосы, вывалившаяся (а может быть, и выставленная нарочно) для кормления ребенка из прорехи грязной ситцевой рубахи мясистая грудь и ничем не прикрытые, почти до колен босые, почтенных размеров ноги. Изорванная сорочка на ребенке, запачканное его лицо, жидкость, свесившаяся из носу до нижней его губы, довершали этот беспорядок...

По рябому лицу этой внушительной женской фигуры, по вздернутому носу и по маленьким серым глазам ее можно безошибочно сказать, что она чистокровная казачка.

Но каким образом она попала в осетинский аул? Очень просто. Она состоит в работницах у здешнего батюшки, и живетя ей, по-видимому, хорошо, ибо вот уже шестое лето приходит к концу с тех пор, как она впервые была привезена самим батюшкой на собственных его дрогах. Почему и не жить? Возни по хозяйству ей всегда было мало, так как батюшка за несколько дней до ее поступления схоронил свою возлюбленную попадью. Сам же батюшка, нужно пола-

гать, нетребовательный, а хоть бы и требовательный, так, во всяком случае, она на одного его всегда поспеет, уже разве что-нибудь особенное? Но в этом особенном батюшку нельзя заподозрить, потому что у его работницы за последние три года получился приплод в лице двух маленьких казачат. Впрочем, за верность слова «казачат» нельзя поручиться, ибо муж ее шестой год охраняет отечественные границы от нападения хищных персиян и несмотря на это...<sup>1</sup> появившийся приплод и, следовательно, на помеху...<sup>2</sup> должна иметь при выполнении своих обязанностей в доме священника. Этот последний не отказывает ей от места, что ясно свидетельствует о том, что она вполне добросовестно исполняет требования своего хозяина и что хозяин этот, в свою очередь, не особенно требователен.

Нам, конечно, незачем верить нелепому слуху, будто батюшка очень часто отказывал ей от места, но она не уходила (как будто она на это имеет право!), и, мало того, говорят, что раз, когда работница нагрубила батюшке и этот батюшка за это хотел ее побить, то она исцарапала ему нос. Можно положительно сказать, что это просто-напросто клевета, потому уже, что большой нос батюшки (нельзя сказать, чтоб и особенно-то большой – обыкновенный грузинский, а батюшка грузин, следовательно, для него он вовсе не большой) подает повод ко всевозможным шуткам в среде аульной мо-

---

<sup>1</sup> Рукопись в отмеченных местах повреждена. (Сост.)

<sup>2</sup> Рукопись в отмеченных местах повреждена. (Сост.)

лодежи. Хотя, однако, говорят, что все видели, как нос батюшки действительно исцарапан... Но, собственно говоря, и это ничего не доказывает – мало ли отчего нос батюшки мог быть исцарапан.

Вообще следует заметить, прихожане относятся к батюшке очень недружелюбно. Какие только клички ему не дают... Неприлично даже говорить. Да что клички! Однажды так один дерзкий осетин перетянул его два раза палкой по спине за то, что он наставлял его жену в недостроенном здании, где теперь помещается аульное правление... Но виноват ли батюшка на самом деле? Церкви нет, следовательно, и вести богоугодные беседы с прихожанами негде... Попробовал было в недостроенном доме, так нет – за это его бьют. Ну что же прикажете делать? Народ-то больно необтесанный – не понимает.

Что касается, например, до богослужения, так батюшка его, наверное, уже запомнил, да как и не запомнить? Он, кажется, лет десять уже не входил в царские врата. Хорошо, если есть кого крестить или хоронить, а то бросайся от скуки хоть с моста в ледяные объятия Кубани. Впрочем, батюшка в этом случае предпочитает уезжать на своих дрогах к священнику соседней станицы и разгонять там недели две свою невыносимую скуку. Этот способ разгонять скуку батюшка иногда заменял, однако, другим, но о нем неловко рассказывать, потому что тут пришлось бы говорить о писарях и о плотниках о печатниках и о кабатчике, и о водке,

и бог знает еще о чем... Хотя, собственно говоря, в благообразности и первого-то способа я не смею уверять никого, мало ли там различных случайностей – кто их может знать? Но он уже имеет то преимущество, что прихожане не могут видеть, как батюшка разгоняет скуку...

*1885–1890 (?)*

# Предложение

(Отрывок)

– Итак, протекли четыре года после университетской жизни.

Однажды вечером, прогуливаясь по Невскому, с целью высмотреть хорошенькую кокетку, я невольно остановился перед одной молоденькой особой. Яркий свет витрины, приковавшей ее внимание модными безделушками, дал мне возможность рассмотреть ее как нельзя быть лучше... Вы не можете себе представить, что это была за красавица! Беспойно-кокетливый взгляд ее жгучих глаз проник до глубины моей души... С нею не было кавалера. Я долго не решался дать ей заметить, что я иду по ее стопам. На одном перекрестке извозчик преградил ей дорогу. Она остановилась... Я очутился рядом с нею... Наши плечи слегка коснулись друг друга... Тот же приковывающий взгляд, та же обворожительная улыбка на ее прелестных губах!.. Я почувствовал в себе больше смелости.

– Вы позволите?.. – спросил я замирающим голосом. Ее, по-видимому, удивила моя скромность.

– Будьте так любезны... – ответила она и добродушно за-

смеялась...

Я задыхался от блаженства. Мы шли довольно скорым шагом. Неужели, думал я, такое дивное создание может публично торговать своими обворожительными формами? Нет, никогда! Это было бы слишком чудовищно. Она хочет посмеяться надо мною, хочет завлечь меня и мою же пошлостью швырнуть мне в лицо, мою же грязью забрызгать мое нахальство... Звонкий ее смех рассеял мои неуместные подозрения.

– Что же вы молчите? С вами скучно гулять...

– Я очарован, я предвкушаю блаженство твоего горячего поцелуя... – Мне стоило необыкновенных усилий сказать ей эту пошлость.

– Вот как!.. Возьмите извозчика! – И она круто повернула к стоявшему у фонаря «Ваньке».

Я сел рядом с нею и взял ее за талию.

– Вы студент?

– Нет, я уже окончил курс.

– Где?

– В университете.

– Служите?

– Нет.

– Что же вы делаете?

– Бездельничаю.

Она звонко расхохоталась и затем, беззаботно продолжая смеяться всю дорогу, стала рассказывать мне самые воз-



мутительные анекдоты, самые отвратительные похождения на этом позорном поприще. Передавала мне свои наблюдения над посетителями ее гостеприимного ложа, удивительно метко обрисовывая при этом особенности, присущие тому или другому званию. Вульгарность ее рассказа возмущала меня до глубины души... Я инстинктивно чувствовал, что эти пошлые фразы – не звуки ее сердца, не проявление ее души. В них я слышал что-то фальшивое, что-то напускное, как бы необходимое для ее роли. Но что замечательно, талантливый артист, в какой бы возмутительной роли ни являлся он на сцене, все же своей игрой поглощает все существо зрителя, и чем больше правдивости в его игре, тем отвратительнее делается порок, тем очевиднее становится высокое значение добродетели.

Я промолчал всю дорогу, не сводя глаз с ее прелестного лица. Не помню, как я очутился рядом с нею на диване в ее гостиной.

– Развеселись же, наконец, а то я тебе всю бороду выщиплю, – обратилась она ко мне, усаживаясь на мои колени и ласково взяв меня за бороду. Я молчал... Она кокетливо посмотрела на меня, в глаза, приподняла мою голову, похлопала меня по щеке и страстно поцеловала... я невольно поморщился. Вы понимаете?.. Понимаете ли вы – я поморщился от жгучего поцелуя такой красавицы и знаете, почему? Что должен испытывать актер-старик, да к тому же урод, загрированный для роли молодого влюбленного, в тот момент,

когда его мнимая подруга, молодая бойкая актриса, целуя его, старается, чтобы звук поцелуя звонко и отчетливо пронесся по всем уголкам обширной театральной залы; актер, который сознает, что его размалеванная физиономия не может служить источником таких страстных поцелуев, что они ни больше ни меньше, как только жалкое орудие личных интересов артистки на поприще сценического искусства?.. То же самое испытывал и я при первом поцелуе моей Наташи, когда она, в силу необходимости занимаясь позорным промыслом, артистически исполняла на моих коленях роль безнравственной, развращенной до мозга костей проститутки. Не трудно было угадать, что она должна была почувствовать в ту минуту, когда увидела тщетность своих усилий возбудить во мне животные инстинкты... Холодное пренебрежение к ее поцелую окончательно оскорбило ее самолюбие. Лицо мгновенно побагровело; улыбка исчезла с ее губ; жгучий взгляд силился проникнуть в тайники моей души. Я невольно опустил глаза. Казалось, она угадала мою мысль. Комната огласилась звонким сценическим хохотом...

– Если бы я знала, что ты такой монах, я бы ни за что не поехала с тобой... Я думала, что ты мужчина, а ты... – Она опять принужденно захохотала и быстро соскользнула с моих колен.

Я молча следил за нею. Не спуская с меня глаз, она с тем же хохотом плавно прошла в соседнюю комнату и как-то вдруг перестала смеяться.

О, если б вы знали, что со мной делалось в это время! Надежда вызвать ее на откровенность бледнела перед крепнувшей верой в ее непоколебимую гордость, в ее настойчивое желание остаться верной своей роли и доиграть ее с полным самообладанием артиста. Я впервые понял тогда со всею очевидностью все свое ничтожество и всю неизмеримую силу этой возвышенной натуры... Я полюбил ее в ту минуту.

Сдержанный шепот невольно обратил мое внимание. Двери, соединявшие нас, притворились; я заинтересовался еще более, подошел к ним и стал вслушиваться...

– Не принимай его, не принимай! – говорил дрожащий голос Наташи. – Скажи, что меня дома нет...

– Он знает, что ты дома, – ответил ей хриплый женский голос.

– Ну, так скажи, что я больна, что не могу его принять... Не пускай его ко мне. Я не могу... – Последовало легкое восклицание: – Уйдите! – продолжала она с отчаянием: – Зачем вы сюда пришли?! Уходите! Уходите отсюда!

– Наташа, голубушка! Что ты пугаешься... ведь это я – твой Вольдемар, – с легкой усмешкой старался успокоить ее Мужской голос. – Не узнаешь?!

– Дворник! – крикнула Наташа во весь голос. – Акси-нья! Позови скорей дворника... Пусть выведет этого князька... Прочь, прочь, не прикасайтесь ко мне, не оскверняйте семейного союза: у вас молодая жена, княгиня... красавица... – И она истерично зарыдала.

– Наташа, опомнись, – начал было опять мужской голос. –  
Ведь мы любим друг друга...

– Молчите! – перебила она. – Я вас не знаю. Если вы не хотите скандала, оставьте немедленно мою квартиру.

– Нет, ты шутишь, Наташа... Я уверен, что ты любишь меня...

– Люблю? Тебя? – Она нервно захохотала... – Нет, я презираю тебя, негодяя... – Вслед за тем послышался стук и опять голос Наташи, но уже более глухой. – Дворник, дворник! – кричала она, как надо полагать, в растворенное окно.

– Наташа! – перебил ее тревожный голос мужчины. – ,  
Опомнись!.. Что ты делаешь! Я уйду...

– Ну, так прочь же, прочь! Сию секунду... Дворник! – крикнула она еще раз.

– Проклятая потаскушка! – произнес с озлоблением мужчина.

Последовала небольшая пауза.

– Ступай проводи его и замкни за ним двери, – закончила Наташа тихим взволнованным голосом; и все замолкло...

Я был весь в огне. Тело мое дрожало, как в лихорадке. Сомнения мои рассеялись... Я увидел истину во всей ее полноте. Эта странная случайность вывела меня из темного лабиринта, возвратила мне веру в самого себя, осветила неугасаемым огнем лучшие стороны моей души... Любовь Наташи стала для меня высшей наградой за все, что бы ни пришлось перенести ради ее достижения...

Я стал ходить по комнате.

Не прошло и десяти минут, как двери распахнулись и в них, как в картинной рамке, появилась Наташа. Поверите ли? Я до сих пор рисую в своем воображении этот дивный, не поддающийся никакому описанию, момент, когда Наташа бесспорно достигла самой высшей точки своего величия. Лицо ее было бледно, большие бархатные глаза ласкали кротким приветливым лучом... губы слегка дрожали... Густые каштановые волосы сползали живописными прядями на открытые плечи... Тонкая батистовая рубашка ясно обрисовывала ее очаровательные формы... Наши взоры встретились... Впечатление, произведенное ее появлением, не ускользнуло от ее наблюдательности. Радостная улыбка осветила ее лицо... Голова кокетливо склонилась на сторону, обнаженные руки приготовились заключить меня в свои объятия... Еще один момент, – и Наташа была вправе торжествовать. I

– Что вы делаете?! Вы с ума сошли. Вставайте, вставайте! – говорила она в замешательстве.

Я стоял на коленях и просил ее руки.

На все мои уверения и клятвы она отвечала обычным сценическим хохотом. Так прошло около минуты; наконец она перестала смеяться, выпрямилась и, скрестив на груди руки, окинула меня холодным, леденящим сердце и кровь взглядом.

– Несчастный! – произнесла она после продолжительной

паузы. – Вы хотите пощеголять перед бездельниками своим благородным порывом... Я вас ненавижу, – добавила она тоном глубокого презрения и медленно прошла в соседнюю комнату.

Я был разбит окончательно.

Не знаю, долго ли я еще простоял на коленях; не помню, говорил ли я еще что-нибудь... Помню только, что я уже сидел на диване и рыдал, как ребенок. Наташа сидела рядом со мной и старалась меня успокоить. Она была одета в черное, волосы были подобраны; лицо пылало, на глазах оставались следы недавних слез. Она говорила мягко, но убедительно; ласкала меня, как младенца, который по детской наивности, желая взять пламя, обжег себе руку и, рыдая, протягивает к нему другую... В самых ужасных красках рисовала она свое прошедшее. В каком отвратительном виде старалась выставить себя в настоящем! Как силилась она доказать мне ошибочность моих мнений, безумство моего предложения! Но напрасно! Я был тверд, потому что глубоко верил в ее величие, потому что полюбил ее со всею силой моей души... И я не ошибся, мне не пришлось раскаиваться.

1889 (?)

# «Сегодня я окончил свои вечерние занятия...»

## Отрывок из незаконченного рассказа

Сегодня я окончил свои вечерние занятия несколько позже обыкновенного и пришел домой, когда мой племянник уже сладко спал в двух сдвинутых глубоких креслах. Но вы не подумайте, дорогие читатели, что кресла, которые служат кроватью моему пятилетнему Бибо, могут быть такие же красивые, такие же чистенькие, какие вы привыкли видеть в гостиных своих родителей. Нет, милые дети, – я занимаю комнату во втором дворе пятиэтажного дома и, чтобы попасть в нее, нужно сперва пройти двое ворот, подняться осторожней на 74-ю ступеньку грязной каменной лестницы и, войдя в ободранную дверь, наглотаться предварительно кухонного аромата, а затем чуть-ли не ощупью пробраться по темному узенькому коридору и, наткнувшись на маленькую дверь, постараться найти ее ручку... Теперь судите сами – осмелится ли такая комната мечтать о сколько-нибудь хороших креслах? Конечно – нет! Вы убедитесь в том еще более, если узнаете, что моя комната имеет всего 6 аршин длины и 3 аршина ширины, что из единственного ее окна мож-

но любоваться только на грязно-коричневую стену соседнего флигеля и что она «ходит» за 9 рублей в месяц с «мебелью», прислугой и с самоваром. В дополнение сказанного я могу вам перечислить и остальную мебель моей комнаты: кроме кресел, которые днем стоят по обе стороны не в меру подвижного стола, напоминающего собою, благодаря остаткам зеленой холщовой материи (а может быть, до такой степени истертого сукна) на его складной поверхности, обыкновенный игорный стол, мою комнату украшают – довольно хорошей работы стул, к сожалению, с подгулявшей уже спинкой, и комод, не уступающий, должно быть, годами не только креслам, но и деревянной кровати, служащей необходимой принадлежностью «комнаты с мебелью»; небольшая этажерка довершает незавидную обстановку незавидной комнаты.

Все это, любезные читатели, я говорю между прочим; главное же, что я хочу вам передать, это точный перевод письма, написанного моим маленьким племянником к его маме и найденного мною сегодня, по возвращении домой, на знакомом уже вам столе.

Бибо писал его, по-видимому, с большим вниманием и, когда окончил, стал с нетерпением ждать моего прихода, чтобы сегодня же запечатать письмо и отправить его по адресу. Однако сон оказался гораздо могущественнее, нежели мой Бибо в своем ожидании; оставив письмо на столе, он уснул крепко» крепко, как только возможно спать в его годы.

Кстати, я предварительно познакомлю вас короче с авто-



ром, произведение которого вы тотчас же затем узнаете во всей подробности. Это, мне кажется, до некоторой степени даже необходимо для того, чтобы мой маленький племянник, первый раз взявший в руки перо, мог надеяться хоть на маленькое снисхождение вашей грозной, но непогрешимой критики.

Моему Бибо, как я уже сказал, всего пять лет; он черкес и говорит только на своем родном языке. По-русски он выучиться не мог, потому что до поездки со мною в Петербург он не слышал почти ни одного русского слова. Он весел, разговорчив, часто поет, плачет только в самых крайних случаях, любит бегать и в особенности бороться (но бороться только с детьми одних с ним лет или же старше его), причем, всеми силами старается одержать победу и когда ему это не удастся, он сильно начинает сердиться и даже при незначительном поводе не прочь расплакаться... С ребенком, который моложе его годами или вообще слабее его, он считает унизительным вести правильную борьбу – в играх он к нему очень снисходителен, в гневе редко бьет его и считает позором заплакать от его ударов.

К несчастью, всякое физическое напряжение очень вредно отзывается на его больном организме.

Да, милые дети, ваш новый „знакомый – юный дикарь – не совсем здоров. Впрочем, благодаря только этому, он имеет счастье (если только это можно назвать счастьем) побывать в Петербурге, куда он охотно приехал со мною только что

минувшей осенью.

Внешность его я описывать не стану – она очень удачно передана в прилагаемом портрете. Больше всего обращают на себя внимание его глаза.

«Ах, мама! Я много, много хотел бы передать тебе в своем письме, но, как видишь, я еще так плохо пишу, что, право, не знаю, сумею ли я высказать хоть маленькую частицу всего того... того... ну, вот видишь, мама, я уже с самого начала не умею даже сказать – чего именно, и это меня очень огорчает, хотя я уверен, что ты, дорогая мама, не согласишься быть ко мне очень требовательной.

Одним словом, я желал бы рассказать тебе все, что я успел видеть и пережить от той самой минуты, когда ты со слезами на глазах, обняв меня крепко, крепко и горячо расцеловав мою правую щеку, усадила меня рядом с Коста, с которым я тотчас же быстро умчался на тройке под громкий звон двух колокольчиков, приделанных к большой дуге, над самой головой брюхатого коренника, а ты, дорогая мама, осталась одна, одна... Ах, мама, с каким удовольствием я несся в ту минуту в объятиях дяди! Ведь ты знаешь, что я первый раз в своей жизни ехал на такой арбе, и потому, должно быть, мне и было так приятно.

Таким образом мы ехали долго, долго... В одном месте, около Николаевки, мы пересели в другую арбу, – тоже с тройкой лошадей и с колокольчиками под дугой, и поехали опять также быстро... Потом опять пересели (не помню где)

в новую такую же арбу и опять поехали быстро. Уже солнышко спряталось за далекою горой, а наши колокольчики все звенели и звенели... Стало уже темно. Коста прекратил свое пение, и мне становилось как-то страшно. Притом же я начал чувствовать, что чем дальше мы едем, тем арба все сильнее и сильнее трясет меня. Но ты не думай, дорогая мама, что она раструсила меня так же, как арба нашего Голо, когда я с ним ездил в Баталпашинск. – Нет! тогда у меня, помнишь, от – тряски разболелась голова, а теперь, когда Коста разбудил меня (оказывается, что я даже спал) в Баталпашинске, я не чувствовал никакой головной боли. Мы остановились на постоялом дворе. Дядя был очень весел – он шутил со мною, учил меня по-русски и мне было также очень весело. Когда нам подали самовар, я спросил Коста – скоро ли будем в Петербурге? Он улыбнулся и сказал мне: «Когда сейчас напьемся чаю и ляжем спать, и встанем, как только настанет день, и опять напьемся чаю, тогда опять усядемся в арбу с колокольчиками и скоро, скоро приедем к машине, а там по машине уже и в самый Петербург». Его ответом я совершенно успокоился, хотя мне уже вовсе не хотелось ехать на арбе с колокольчиками. Но что оставалось делать? – без этого нельзя было бы прокатиться на машине и, главное, не пришлось бы взглянуть на Петербург...

Неоднократно спрашивал я Коста и о машине. Он мне говорил, что эта такая арба, которая везет сама без лошадей и без быков и везет, говорил он, быстро, быстро, так что да-

же левановская серая лошадь не может ее догнать и, притом, самое главное, не растрясет меня до головной боли. Понятно, мама, все это очень и очень должно было удивлять меня и вот, почему, в ожидании, как можно скорее прокатиться на машине, я даже не плакал, когда на другой день вечером мы свалились под кручу с арбы с колокольчиками. Помню, Коста тогда очень испугался и начал меня утешать – он думал, что я сильно ушибся, а я, мама, только оцарапал себе висок. Но скоро я забыл совершенно даже и об этой царапине, так как ужасный свист за ближайшим садом заставил меня вздрогнуть и прижаться ближе к Коста. Громкий смех дяди рассеял, весь мой испуг и, когда он объявил мне, – что это свистит машина, то мое нетерпение увидеть скорее эту свистунью арбу возрастало с каждой мелькавшей под нами саженью пыльной дороги. Приближаясь к группе больших домов, которые словно выросли перед нами за поворотом сада, человек, который правил нашими лошадьми, погнал их во всю мочь, и мы вскоре были у дверей одного из этих домов.

«Вот тебе и машина», – сказал мне, улыбаясь, Коста, когда лошади совершенно остановились.

«Ну, слезай!» – И он снял меня с арбы.

Какой-то человек с большой медалью на груди понес наши вещи, я с дядей последовал за ним. Мы вошли в необыкновенно большие двери и очутились в такой комнате, какую я и во сне никогда не видел – поверишь ли, мама, – если на нашу саклю поставить еще нашу саклю и на трубе еще меня

самого, и то бы я не достал рукой до потолка этой комнаты; мало того, я не докинул бы камень, несмотря на то, что я гораздо выше, не говоря о том, что много дальше бросаю камень, нежели в состоянии то делать Нико, я бы ни за что не добросил камня до этого потолка.

Когда мы вошли, народу там было уже очень много... Некоторые сидели на длинных с высокими спинками скамейках, другие ходили, третьи ели, пили за длинным, длинным, почти во всю комнату столом, уставленным тарелками, бутылками, стаканами и (но этого я не могу понять – для чего? – Коста говорил – для красоты) маленькими деревцами и бурьяном с широкими листьями. Я встретил здесь так много незнакомого мне, что уже с самого порога начал осыпать дядю вопросами, но он почему-то не отвечал мне ни на один из них. Не знаю, потому ли что не успевал отвечать или забыл совершенно о моем существовании? Забыть, во всяком случае, он не мог, потому что подвел меня за руку к одному углу, куда человек с Медалью сложил наши вещи и, усадив меня на чемодан, сказал внушительно: «Бибо! сиди и не смей вставать!» Если бы он забыл обо мне, то разве сказал бы «Бибо»? Значит, он не отвечал совсем по другой причине. Я видел только, что он очень суетился, выбегал из комнаты, тотчас же опять возвращался, подходил ко мне, приказывал: «смотри – сиди!» и опять уходил. Все это бы ничего, но мне было досадно, что я не мог удовлетворить своему любопытству...

Наконец дядя, улыбаясь, подошел ко мне и уместился рядом со мною. Тут-то я узнал, что эта комната не машина, а вокзал Невинской станции, и народ, которым была наполнена комната, не поминки справляет, а ждет прихода машины, чтобы «есть на нее и поехать, кому куда нужно».

«А где она теперь?» – спросил я у Коста. – «Она скоро придет из Владикавказа, остановится вон там (он указал к дверям, у которых стоял какой-то господин с серебряными пуговицами и широким галуном на фуражке) и будет ждать, пока мы усядемся на нее, а затем после трех звонков засвистит и повезет нас в Петербург».

В продолжение последующих расспросов я почти уже не отводил глаз с тех дверей, за которыми должна будет остановиться машина. «А этот господин зачем стоит все у дверей?» Ответа не было. «Зачем?» – повторил я, не поворачивая головы на сторону Коста (я внимательно рассматривал костюм заинтересовавшего меня человека), но не получил опять никакого ответа. «Коста!» – крикнул я, выведенный из терпения молчанием дяди. Но его уже не было около меня. Я как-то растерялся при неожиданном его исчезновении и быстро вскочил на чемодан ногами, чтоб удобнее было различить дядю в толпе, если только он находился в комнате; но едва только я успел это сделать, как до моего слуха долетел его голос: «Бибо! что ты делаешь?! Слезай скорей и ступай сюда чай пить». Коста сидел почти перед самым моим носом за длинным столом. Я уселся рядом с ним на большом дере-

вянном стуле с высокой, высокой спинкой. В эту минуту какой-то новый господин с медалью (но уже с маленькой) подал нам два стакана чаю – один мне, другой дяде. Мы принялись пить чай.

Вдруг в комнате поднялась суматоха. Все начали собирать свои вещи и тесниться к дверям. «Идет, идет», – слышалось всюду (тогда я не понимал, что значит «идет»; теперь-то, мама, я знаю что «идет» значит – идет). Они, оказывается, говорили о машине, что она идет.

Коста тоже быстро выскочил из-за стола и, приказав мне сидеть и допивать скорей стакан, подошел к нашим вещам. Около них стоял уже тот же самый человек с большой медалью, который раньше внес их из арбы с колокольчиками в вокзал (ведь ты, мама, помнишь, что называется вокзалом). Они забрали вдвоем все вещи и вместе с другим народом вышли в те самые двери, на которые перед тем я так усердно смотрел в надежде скорого появления машины. Теперь они были растворены, и я свободно мог видеть, как мимо вокзала двигался целый ряд не особенно больших домов. «Неужели эти дома действительно двигаются?» – спрашивал я себя в недоумении: а может быть, у меня кружится голова и это мне только так кажется? Оказывается – нет! у меня голова не кружилась, а дома двигались на самом деле. Что же это? Неужели машина? Я боялся дать себе утвердительный ответ. Мне хотелось спросить, узнать скорее, – что это такое... но кого спросить? Дяди не было около меня. Раздался свисток,

и дома остановились... Можешь ли себе представить, мама, как я измучился, пока не пришел Коста и поспешно не объяснил мне, что это действительно машина.

«Ты что же чай-то не допил?» – обратился в свою очередь дядя ко мне. Я промолчал... «Ну, все равно, – продолжал он, – теперь уже некогда —:пойдем!» И он, подарив господину, с маленькой медалью один абаз, взял меня за руку и почти поволок за собою... Он так быстро шел, что я из боязни споткнуться принужден был глядеть все время перед своими ногами, и вследствие этого я даже не мог рассмотреть как следует те дома, которые только что перестали двигаться, которым Коста, как мне тогда казалось, дал название «машина». Теперь-то я знаю, что эти дома называются вагонами, а машина самая впереди их всех – страшная такая с большими колесами, с печкой. Она-то и свистит и возит за собою вагоны, в которых устроены скамейки для пассажиров. Мы остановились перед балконом одного вагона, Коста посадил меня на этот балкон и ввел в небольшие двери. В вагоне было так тесно, так тесно, мама, что мы насилу могли подвигаться вперед, меня даже чуть-чуть не раздавили, а тут еще вдобавок меня стал душить кашель, потому что по всему вагону дым стоял столбом, и дым точь в точь такой, какой выходит из трубки Омана. Кое-как мы добрались до одной скамейки, на которой я тотчас же узнал корзинку, в которую ты положила мне булочек на дорогу. Ах, мама, какая ты добрая! булочки твои были такие вкусные! Я уже их все



поел. Мы уселись этой скамье, а корзинку дядя положил на полочку, как раз над вашим сиденьем. Остальные вещи тоже были размещены – одни на полке, другие под скамейкой. В вагоне стало будто просторней; все поуспокоились, Коста тоже отдыхал... отдыхал я говорю потому, что он вытирал платком пот с своего лица, значит, умурился...

Вдруг раздался звонок, я тотчас же вспомнил, что это значит и обратился к дяде. «Еще два и мы поедем?» Он утвердительно качнул головой... Я весь отдался ожиданию следующих; звонков. Первый промежуток мне показался не таким длинным (хотя он на самом деле был больше, чем второй), перед третьим звонком я почувствовал себя, как перед вкусным шашлыком на голодный желудок. Сейчас же после звонка раздался свист такой, как (ты слышала?) свистит Голо, когда он вкладывает в рот пальцы, за тем другой свист (ну такого я нигде не слышал и не знаю, как тебе объяснить его) сильный, густой, густой, – но он тотчас же оборвался, за ним опять засвистели, как свистит Голо, и, наконец, «у-у-у-у»... затянул густой свисток. Не успел он окончить, как после маленького толчка я почувствовал, что комната, в которой мы сидели (вагон) начала двигаться... Я выглянул в окно – мы двигались сначала тихо, а потом все сильнее, сильнее, сильнее. Вокзал уже остался позади. Другие вагоны, другие машины, столбы, дома... и, вообще, все, что можно было видеть из окна, все это двигалось мимо нас все с большей, большей быстротой... И, если, действительно, так быстро ехали

мы сами, то я вполне согласен, что левановская серая лошадь нас бы никогда не могла догнать. Но я этому никак не мог поверить, хотя "в этом меня убеждал Коста. Почти во всю дорогу до Петербурга я не мог никак отделаться от этого обмана – мне все казалось, что мы сами хотя и едем, но очень тихо, все же, что нам попадалось по дороге, несло мимо нас в обратную сторону быстрее птицы! Таким образом, мы ехали, пока машина не засвистела и не остановилась. – Зачем мы остановились? – спросил я в недоумении дядю. – А затем, – объяснил он, – что здесь станция, быть может, здесь есть желающие сесть на машину, так могут тем временем, пока она стоит – найти себе место в вагоне, а если есть и такие, которым дальше не нужно ехать, то дается возможность и тем забрать свои вещи и выйти из вагонов во время остановки поезда.

Пока мы говорили, на станции уже успели пробить два «звонка, через короткий промежуток времени последовал третий. Опять такие же свистки, как и на той станции, где мы сели, опять маленький толчок и мы опять поехали тихо, тихо; потом быстрее, быстрее... быстрее...

Стало уже темнеть... в вагоне зажгли свечи. Народу было – по-прежнему много... Одни дремали, другие разговаривали, смеялись, пели... Но я не понимал ни разговоров их, ни песен... Впрочем, я не особенно ими интересовался, меня занимали совсем другие вопросы, объяснение которых я с напряженным вниманием выслушивал от дяди. Содержа-

ние наиболее интересных мест нашей беседы я могу сообщить тебе, мама. Так как мои сведения о машине не были еще достаточно полны, то она и служила в начале, главным образом, предметом нашего разговора в вагоне. Я прекрасно понимал, что значили свистки, звонки, хорошо знал, зачем два господина (иногда, впрочем, один только) подходили ко всякому сидевшему в вагоне и спрашивали у него маленькую бумажную дощечку и пробивали в ней дырочку особыми ножницами (без этих дощечек на машине ездить не позволялось никому. Коста назвал их «билетами»; у нас тоже был такой же билет), и, вообще, в тот вечер я многое, многое уже узнал от своего дяди... Не понимал только одного, как машина может ехать без лошадей или без быков, но этого и теперь не понимаю, хотя знаю, что без воды и без печки, в которой горит всегда большой огонь, машина не может даже тронуться с места. В тот же вечер я узнал, какую силу имеет машина – оказывается, мама, что она сильнее, чем какая бы то ни была лошадь, и даже сильнее меня. Когда Коста убеждал меня в этом, я долго не хотел ему верить, потому что – ты же знаешь сама – я очень-сильный. Помнишь, я всегда мог побороть Ника; один раз; только он меня поборол и то потому, что я мало выпил молока; но когда я тотчас же побежал домой и ты мне дала полную чашку молока, от которого я не оставил ни капельки моей любимой киске, я, вернувшись на улицу, сразу положил на землю своего противника. Об этом рассказывал и Коста, когда он говорил, что машина силь-

ней меня, но он все-таки продолжал меня уверять в том, что машина действительно сильнее меня. Не знаю, мама, верить ему или нет...

В этой беседе я даже забыл о том, что мне хочется есть; и о жареной индюшке, которую ты нам положила на дорогу, вспомнил только тогда, когда разговор наш стал прерываться... Коста отрезал от нее кусок и дал мне его с булкой. Пока я ел (ах, какая вкусная была индюшка), дядя сделал мне на скамье постель и, когда окончил свой ужин, положил меня спать. Но я долго не мог заснуть: все думал... и о чем только не думал? и о тебе, мама, о машине, о колокольчиках и о той арбе, на которой у меня заболела голова, когда мы ехали с Голо в Баталпашинск и о том козле, на котором я ездил верхом, о кошке, о баранах, о злой корове, которая меня подняла на рога и сбросила так, что я разрезал свой лоб о камень, о моей любимой кошке, и о леваяовской маленькой «Тришке», которая постоянно лаяла [на] меня и хотела меня кусать, когда я приходил к ним неумытым, о купаньи, об играх, о Ника, о Петрбухе... Скоро доедем в Петрбух? – спросил я, между прочим, у дяди, закутавшись уже [в] одеяле. – «А, вот, когда ты заснешь и проснешься, как только настанет день, мы приедем в Ростов (кажется, так он назвал одну станцию), слезем с этого вагона, напьемся на вокзале чаю, закусим, сядем в другой вагон и поедем в Петрбух»... Я успокоился и не задавал ему больше вопросов...

«Ай, ай, ай! как тебе не стыдно, Бибо, спать так долго, –

были первые слова дяди, как только я проснулся на другой день, – смотри – все уже давно повставали, на дворе солнышко сияет, а ты все спишь и спишь...»

Я сконфузился и тотчас же соскочил с временной своей кровати... Действительно, день был чудесный; вагон наш мчался так же, как и вчера... многие из пассажиров начали связывать свои вещи.

«Сейчас, как только переедем по мосту через реку, так мы уже и в Ростове» – объяснил мне Коста, когда я стал у окна и смотрел на множество каких-то крылатых башен. Некоторые из них вертели своими длинными крыльями, другие стояли неподвижно.

«Что это такое? – спросил с любопытством дядю.

«А это мельницы, – пояснил мне Коста, – ведь, ты знаешь, бывают мельницы с колесами, которые приводятся в движение водою, а это с крыльями, которые действуют силою ветра...»

Я хотя и понял, но все-таки очень удивлялся им (пожалуй, и ты бы, мама, удивлялась, если б имела случай взглянуть на эти крылатые чудовища – ведь, ты тоже не видела еще таких мельниц). Бее машут и машут, как-будто драться хотят... Неужели я не сильнее даже и этих мельниц?

Раздался свисток, и мы после небольшой остановки ехали уже по мосту; ехали мы долго, долго... Река, которую мы переезжали, была такая широкая, что куда шире, чем наша Кубань (по крайней мере, так говорил Коста, он же убеждал

меня, что и мост этот лучше и крепче, чем тот, по которому я ходил в крепость)... Ты видела, мама, когда-нибудь, чтобы по воде ехали в корытах и махали лопатками? А я видел, видел, во-первых, под Рост[овом] и потом очень часто на других реках. Эти корыта называются лодками.

Несмотря на то, что в этой реке даже всаднику будет с головой и с руками, по ней свободно разъезжают в корытах и не потонут. В такой лодке могут сесть только несколько человек. Но я видел там же другие корыта, большие, большие, так что, если посадить в одну из них Голо с его стадом и мохнатой собакой, и то она не потонет. Они называются барками. Между этими барками были некоторые с крыльями на высоких палках, другие с такими же печками, как и на машине, и потому они называются уже не барками, а пароходами.

Река была запружена всевозможных размеров барками, пароходами и лодками. По берегу было так много брусьев, что даже кузовлевские в сравнении с ними показались мне ничем, хотя, когда их сплавливали по Кубани, мы – много-много мальчишек, стоя на мосту, побросали в воду целый воз камней, стараясь попадать ими в каждый брус, когда он вылетал из-под моста. Мы, помнится, тогда от усталости принуждены были прекратить свое занятие и разойтись по домам, а кузовлевские брусья все продолжали и продолжали шмыгать под мостом.

Поезд наш стал приближаться к станции. По обеим сторонам дороги начинался город, но где он кончался, трудно бы-

ло сказать, весь скат горы, сама гора, и справа и слева, и берег реки были застроены самыми разнообразными домами – были и такие, как наш, были и больше не то, что нашего дома, но и крепости, а то даже такие, крепость на крепость, еще крепость, на них еще крепость, и, наконец, на самом верху еще крепость... А сколько церквей! Вообрази, мама, у нас одна церковь, в Баталпашинске одна церковь, в Дзегуте одна церковь, словом, везде, где я проезжал, везде я видел по одной только церкви, а здесь их до того было много, что у меня, когда я принялся их сосчитать, мне стыдно сознаться, но, все-таки, сознаюсь, у меня даже счету не хватило. Поэтому ты можешь судить о величине Ростова. Соответственно городу и вокзал поражает своею громадностью. Проехав массу вагонов, машин, которые, только и дело, свистели, наш поезд остановился около длинного навеса. Пассажиры забирали свои вещи и с ними спешили на перерыв сойти с вагона, около выходных Дверей которого была поэтому такая давка, что дядя счел лучшим не трогаться с места, пока не выйдут все. Тем временем пришел носильщик и помог нам перенести вещи из вагона в вокзал. Помнишь, мама, я говорил, человек с большою медалью – это, оказывается, его «номер» – по этому номеру их легко отличить друг от друга, – так говорит Коста, хотя мне самому все кажется, что у них у всех медали эти совершенно одинаковые... Зал, куда мы вошли, был несравненно больше, чем тот, который я тебе уже описывал, было в нем больше и столов и людей...

Пока пришло время пересаживаться на другой поезд, мы с дядей успели там поесть по тарелке борща с мясом, выпить по стакану чая и, в довершение [этого], еще насидеться и налюбоваться всем окружающим. Мы даже выходили на платформу (так называется площадка, около которой останавливается поезд, когда приходит на станцию). Прогуливаясь по этой платформе, я мог хорошо рассмотреть устройство вагонов и паровиков (машины, которые возят вагоны), как ты уже видела, я даже попробовал их нарисовать в настоящем своем письме – думаю, что мне удалось изобразить их, как и все остальное – очень верно, а если есть в моих рисунках какие-нибудь погрешности, то мне это, все-таки, извинительно – ведь, я еще не учился рисовать...

Едва только мы примостились в новом вагоне (теперь мы заняли две скамейки), я опять стал донимать доброго дядюшку своими расспросами. Он хотя охотно объяснял мне все, но, по-видимому, его не мало забавляла большая часть моих вопросов. О чем только я его не спрашивал! Теперь я, когда вспоминаю о них, сам удивляюсь своей тогдашней наивности. Но ты не смейся, мама! ведь, я до того времени не видел ничего подобного...

Например, я его спрашивал: кто строил эту дорогу, мосты, вагоны, машины и трудно ли было их строить? Если трудно, так зачем их строили? – «Чтоб, очевидно, Бибо имел возможность скорее, чем на арбе, прокатиться до Петрбуха без тряски и головной боли» – и мы оба от души смеялись та-



кому исходу нашего разговора... Теперь так на самом деле смешно – как-таки я не мог тогда сообразить таких простых вещей.

«Где же Петрбух?» – спрашивал я тогда дядю. «А вот, когда ты уснешь ночью и проснешься, когда настанет день, напьешься на одном вокзале чаю, а на другом пообедаеть, тогда марш, марш! и покатым к Петрбуху»;

«А домой когда поедем?» – обратился я к Коста уже поздно вечером, когда я, собираясь уснуть, лежал под одеялом на своей скамейке.

«Домой когда?» – переспросил он, пристально всматриваясь мне в глаза. – Вот приедем в Петрбух, посмотрим на него, поживем там, и как только в нашем саду начнут созревать яблоки, груши и черносливы – так и домой... А если хочешь, продолжал он, улыбаясь, то можно и сейчас – скажем, чтоб машину повернули назад, и поедем, не посмотревши Петрбух, обратно пасти овец и свиней...

Я не хотел и слышать об этом и потому, чтобы замять разговор, ответил веселым смехом на предложение дяди, а затем стал рассказывать ему некоторые, наиболее смешные свои похождения и проказы. Говорил я, например: как я повадился воровать из сада яблоки и при этом часто обламывал ветки, а Леван, подозревая исключительно Марико, собирался не раз побить ее; потом, как я однажды разбил чашку и съел находившиеся в ней пирожки, а ты, мама, за это отдула бедную ни в чем неповинную киску. Затем как я на

поминках вырвал у одного мальчишки его порцию мяса и, пока он меня догонял, я успел даже облизать пальцы и спрятаться за Голо, чтобы не пришлось своим собственным мясом (этот мальчишка любил кусаться) выплатить похищенное. Так он и ушел, бедняжка, ни с чем.....

И еще много, много проделок рассказывал я дяде; они его, по-видимому, очень занимали, ибо он все время хохотал от души...

Мама, я начинаю умариваться писать, хотя самое интересное, о чем непременно хочу тебе сообщить, еще далеко впереди. Впрочем, чтобы не утомить и тебя чтением такого длинного письма, я коснусь только тех мест остального пути до Петербурга, которые производили на меня наибольшее впечатление – их, кстати, очень мало...

В последующие два дня до самой Москвы я чувствовал себя не особенно хорошо. Хотя мне приходилось побывать на очень хороших, красивее даже чем в Ростове, вокзалах, но они [на] меня уже не производили первоначального впечатления – вообще, все, что касалось дороги [меня] уже почти не интересовало; не знаю, потому ли, что мне уже надоедала эта однообразная [дорога] или потому, что погода была очень скверная, дождь и холодный ветер положительно [не д]авали показывать носа из вагона... Разговоры наши с дядей также не велись уже [с т]аким оживлением, как в предыдущие дни... Признаться, мама, мне тогда очень [хо]телось очутиться дома и забыться в твоих объятиях, но так как это

было невозможно, то добраться скорее до Петербурга, который хотя уже не так интересовал меня, но мог бы, по крайней мере, избавить меня от однообразного грохота вагонных колес, становившегося мне все более и более противным. Подумай, мама, ведь ужасно четыре дня и четыре ночи слышать одно и то же – тах, – тах – тах – тах, – тах – тах – тах – тах, и дослушаться до того, чтобы бессознательно, а иногда наперекор своему желанию, повторить в уме за колесами те же тах – тах – тах – тах... Ужасно, ужасно!..

Если бы не случай с одним несчастным оборванным русским, так я ни разу, кажется, не смеялся бы в продолжение этих двух дней, – бедняк этот забрался под одну скамейку нашего загона и не вылезал оттуда, пока, наконец, кондуктора (так называются те, которые должны наблюдать – все ли пассажиры имеют билеты) не открыли его убежище и не вытянули его за ноги при всеобщем хохоте пассажиров. (Один только дядя не смеялся в это время). Но как было не смеяться, когда с бородой мужчина начал рыдать перед кондукторами, которые, по-видимому, не хотели уважить его просьбу. Несчастный успокоился только тогда, когда дядя вмешался в их разговор. Как я мог заключить по громкому разговору и по красному лицу одного из них, они были особенно довольны этим вмешательством, но это продолжалось недолго – дядя вынул из кармана сколько-то денег и отдал кондуктору. Плакавший русский потянулся к руке дяди, чтобы поцеловать ее. Коста поторопился предупредить этот поцелуй,

а стал говорить ему что-то, после чего бедняк не полез уже под скамью, а уселся с довольным видом против печки. Кондуктора ушли, Коста тоже сел на место.

«Что это с ним?» – спросил я тотчас же дядюшку.

«Он служил в работниках в городе, а жену и маленьких детей своих оставил дома, в деревне; теперь жена его умерла, ему нужно, как можно скорее, ехать к детям, а денег для того, чтобы купить билет себе на проезд, у него нет, вот он и плачет...»

В Москве я бы, кажется, и не сел уже в вагон, если бы не слова Коста: «Когда ты еще раз заснешь, то проснешься уже в самом Петербурге...» Не будь этих слов, я не знаю, что бы со мною было, когда я опять мчался в противном вагоне... Коста меня всеми силами старался развлекать, покупал для меня виноград, яблоки, конфеты, давал даже пиво, но я, все-таки, несмотря на все его и мои собственные усилия, никак не мог быть веселым...

В то время я, кажется, и мыслить устал, потому что, как помнится мне, когда я ложился спать (скамейка была короткая и неудобная), я не имел ни одного определенного желания, ни одного ясного представления...

Теперь, мама, ты можешь себе представить, что я должен был чувствовать после всего этого на другой день, когда открыл глаза и увидел перед собою не Петербург, как я предполагал, а тот же самый безобразно длинный вагон и тех же самых скучных пассажиров на тех же коротких его скамейках.

Поезд мчался с обычной быстротой по бесконечному лесу. Дяди не было около меня... Ах, мама! Если б я мог тебе передать то чувство, которое овладело мне минуту. Несколько крупных слез скатилось по моим щекам, оставив на них горячий влажный след... Вскоре подошел ко мне Коста. «Как, ты уже проснулся? – обратился он ко мне с мягкой улыбкой. – Ай да молодец, Бибо! Ну, стой, как только приедем в Петербург, я тебе непременно куплю таких пряников, каких ты еще никогда не видел...» Но меня вовсе не интересовали его пряники – я постарался скорее укутать голову в одеяло и вытереть глаза.

«Где же Петербург?» – спросил я его в свою очередь, раскрывая голову и сияясь казаться веселым. «Теперь уже не далеко – вот проедем лес, а там еще немного, и мы – в Петербурге...» Слова дяди меня до некоторой степени ободрили. Я подошел к окну. Мы так быстро ехали, что нельзя было рассмотреть в отдельности дерево – они все сливались как бы в одну гладкую, мелькавшую мимо нас стену. Я простоял очень долго... Зеленая стена нес[лась] и неслась по-прежнему. Одна станция быстро сменяла другую, но лес все той же стеной мелькал по обеим сто[ро]нам поезда. Мое нетерпение, выехать скорее на открытое поле, заменилось уже отчаянием, но лес, – все тот же бесконечный лес... Я не знал что делать. Каюсь, мама, я до то[го] рассердился, что не мог не выругаться. – «Чтоб собака в тебе околела», – произнес я, казалось, очень тихо в негодовании, (но ты прости меня,

доро[гая] мама, – ведь, ты часто сама так ругаешься). Однако, от этого мне было не легче – только громкий смех дяди вывел меня из этого невыносимого положения. «Кого это ты ругаешь, Бибо?» – обратился] он ко мне, продолжая хохотать (оказывается – я выругался достаточно громко, так что даже дядя, будучи углублен в чтение, слышал мое чистосердечное пожелание нашему непрощенному спутнику). На его вопрос я только горько улыбнулся... «Ты лучше, чем смотреть в окно, – продолжал Коста, – ложись на свою кровать и спой песню о прекрасной Кошер-хан...» Я послушался его совета – лег действительно на скамью, но о прекрасной Кошерхан и думать не хотел... В моей голове теснились совсем другие думы. Главным образом, я думал о тебе, милая мамаша, думал о всем, что было так дорого мне и что, подобно тебе же, покинуто мною на неопределенное время. (Ах, мама, слезы наполняют мои глаза, и не позволяют мне писать).

Был уже вечер, когда дядя обратил мое внимание на очень долгий свисток паровоза и объявил мне с сияющим лицом. Мы подъезжаем к Петербургу. Как помнится, его слова не произвели на меня ожид[аемого] им впечатления. Поезд не успел еще остановиться, а пассажиры уже теснились у выхода из вагона. Мы, вышли, как и всегда, после всех. Платформа была полна народом, все бегали с вещами, суетились, многие обнимались, целовались... Только я и дядя, держась за руки, не спеша, пробирались в этой толпе, не упуская из виду человека с медалью, шедшего впереди нас с нашими вещами.

На одном повороте дядя остановил услужливого старика и сказал ему что-то (должно быть, попросил его не трудиться больше), после чего тот, действительно, сложил вещи в угол. Дядя дал ему денег (не правда ли, как странно, мама, – всем, кто нам помогал в дороге, дядя непременно дарил деньги. Ведь у нас так не делают), тот снял шапку, поклонился и исчез. За ним исчез и Коста, предварительно приказав мне сидеть около вещей...

Он проходил не долго, хотя это мне могло и показаться, так как я с возвратившимся ко мне большим любопытством рассматривал необыкновенно высокий сарай, где остановился наш поезд...

Ах, мама! Отчего тебе нельзя посмотреть этот сарай!! Ты, наверное, ничего подобного не видела в своей жизни. До его крыши, не то что я, но даже сам Голо не добросит камня...